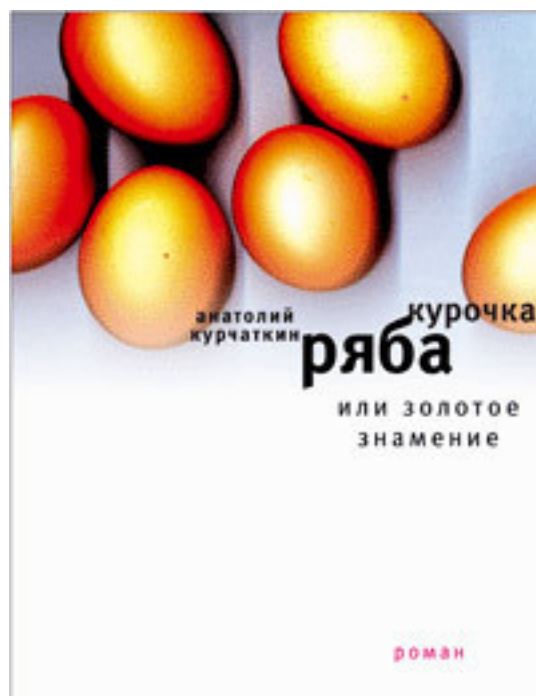




Анатолий Курчаткин

**Курочка ряба, или
золотое знамение**

«WebKniga»

2005

Курчаткин А.

Курочка ряба, или золотое знамение / А. Курчаткин —
«WebKniga», 2005

Курочка Ряба снесла, как ей и положено по сказочному сюжету, золотое яичко. А дальше никаких сказок – один крутой реализм, столь хорошо знакомый читателям и почитателям Анатолия Курчаткина. Золотая лихорадка по Джеку Лондону – с ночной пальбой и нападениями на инкассаторов – что ни говорите, не самый традиционный сюжет для российской сельской глубинки. Но трясет-то эта лихорадка героев вполне нашенских – сочных, гоголевских, знакомых до боли... Ни один из них не выйдет без потерь из битвы за золотые скорлупки.

Содержание

История, забытая автором	5
Глава первая	9
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Анатолий Курчаткин

Курочка Ряба, или Золотое знамение

история, действительно имевшая место

История, забытая автором

История этой «истории, действительно имевшей место», началась задолго до того, как она появилась на свет. Ее повивальной бабкой оказалась другая история – приключившаяся с моей пьесой «Бабий дом».

Я писал пьесу «Бабий дом» летом 1982 года в Коктебеле, живя там в писательском доме творчества, который своим местоположением, как и территорией, обязан Максимилиану Волошину. Духом этого замечательного поэта Серебряного века и его товарищей, некоторые из которых, бывало, чуть ли не месяцами жили в его гостеприимном доме, напоено там все, и, наверное, этот невидимо витающий над теми местами дух искусил меня оставить рукопись начатого в Москве рассказа невынуто лежать в чемодане и вместо того, чтобы отправиться в привычное путешествие по освоенной территории прозы, ступить на неведомую мне прежде землю драматургии. Обитатели Серебряного века любили неизведанное, нехоженные тропы были для них куда привлекательнее натоптанных дорожек регулярного парка.

Я отправился в местный поселковый магазин, купил там две 48-страничные школьные тетради – и пустился в путешествие по terra incognita. И тогда, и сейчас прозу я пишу на отдельных листах бумаги, и иначе не получается, а пьеса у меня сразу же запросила для своего возникновения иных условий. Эти условия оказались куда как выгоднее тех, что требовала для себя проза. Вместо письменного стола, по всему просторному полю которого должны сложным узором лежать страницы уже написанные, страницы будущие, а посередине их – страница, что пишется, мне оказалось вполне достаточно двух стульев: один – чтобы сидеть на нем, и другой – чтобы положить на него ноги; тетрадь, в свою очередь, с возникающим в ней текстом пьесы вполне довольствовалась моими коленями. Самое же главное, отсутствие нужды в столе превратило меня в вольного человека – я мог писать, сидя на веранде своего номера, не заходя в комнату часами, мог писать, снеся стулья с веранды и поставив их прямо на землю под цветущие кусты жасмина, мог, наконец, писать на пляже, для чего не было нужды даже в стульях – хватало и обыкновенного решетчатого лежака. В день приезда я начал пьесу, в день, когда срок путевки закончился и предстояло вечером сесть в поезд, иначе говоря, спустя двадцать четыре дня, пьеса была закончена.

Судьба ее, когда она по моему возвращению в Москву оказалась перепечатана и приобрела вид машинописи, обещала быть упоительно счастливой. Первый же театр, в который я ее снес, вырвал у меня пьесу из рук и принял к постановке. И был это не какой другой, как Малый театр. Автор заключил договор, получил аванс, встречался с режиссером, обговаривал с ним нюансы будущей постановки, встречался с художником и обсуждал выклеенный тем из картона макет сценической обстановки.

Увы! Розы прекрасны, и аромат их чуден, но зачем-то же даны этому великолепному цветку шипы. Кто сейчас помнит о постановлении ЦК КПСС касательно Белорусского театра оперы и балета? И специалисты театроведы вспомнят не сразу. А я помню. Недолго руководил страной тов. Андропов, чем и запомнился большинству народа, так тем, что велел в дневное время прогонять народ с улицы на работу, а мне запомнился еще и тем, что не дал этим своим постановлением поставить «Бабий дом» в Малом театре. Мало ли что речь

там шла о Белорусском театре, да еще оперы и балета. Руководителям всех прочих театров было понятно: что сказано об одном, то относится и ко всем другим. А о Белорусском театре оперы и балета было сказано, что они должны крепить идейность, выбирать большие, созвучные эпохе темы, ну и так далее и так далее – то ли осенью 1982 года это было, то ли в самом начале 1983-го, кто хочет точно проверить формулировки, может поднять подшивку «Правды» и посмотреть. «Бабий дом» уже одним своим названием вставал поперек магистрального пути, намеченного постановлением ЦК. Театр, гнавший лошадей, стал осаживать их, на смену умершему Андропову пришел новый генсек, Черненко, эпоху которого, всем было ясно, вообще надо просто пересидеть замерев, нигде никак ни в чем себя не подставив, – лошади оказались выпряжены, никто ни о какой постановке спектакля по «Бабьему дому» уже и не заикался.

Я понял, что ни в Малом, ни в каком другом театре мне ничего не светит. А жалко мне было хоронить своих героев (в основном героинь!) в архиве. Почему они должны были погибать бесславной смертью из-за этого дурацкого Постановления? Я решил дать им шанс выжить. Так пьеса, знавшая до этого лишь мои колени, оказалась у меня на столе и спустя какой-то срок, ощутимо больший, чем месяц, за который родилась в Коктебеле, она превратилась в повесть.

Повесть «Бабий дом» появилась в журнале «Октябрь» в шестом, июньском номере за 1986 год. А спустя некоторое время у меня раздался звонок с «Мосфильма», из творческого объединения Георгия Данелии: а не хотите ли, господин писатель, продать нам права на этот ваш «дом», а мы сделаем из него фильм. Как шило, сунутое в мешок, пьеса, упрятанная мной в прозаическое повествование, вылезла наружу, и профессиональный взгляд, упав на это «шило», тотчас определил, что оно собой представляет и каковы его возможности.

Конечно, я хотел не права продавать, а сам делать сценарий, тем более что не было никакой нужды драматургически выстраивать материал, все практически готово, но кино – это свой мир, чужие там не ходят, и я не стал слишком упорствовать в этой тяжбе: я, не я. Все же повесть изначально родилась на свет совсем не с прозаическими признаками, и мне очень хотелось увидеть ее в том облике, в каком она была изначально задумана, пусть и несколько видоизмененном.

В 1989 году поставленный по повести «Бабий дом» фильм «Ребро Адама» вышел на экраны.

И в том же году творческое объединение «Ритм» Георгия Данелии, пусть и не считая автора «Бабьего дома» вполне своим, но все же и не числя уже совсем в чужих, пригласило меня принять участие в закрытом конкурсе на сценарий для комедийного фильма, который объединение проводило вместе с Центральной сценарной студией тогдашнего Госкино СССР. О, чары кинематографа! Мало было раку-отшельнику его выхода из своего уединенного обиталища в театральный омут, ему захотелось нырнуть с головой и в омут, что помутнее всякого театрального.

В общем, автор принял предложение, сочинил заявку, заключил договор, получил аванс, после чего принялся и за сочинение самого сценария. Ему это было нетрудно делать. Во-первых, он опять сочинял не за столом, а на коленке, хотя уже и не в Коктебеле. А во-вторых, и это главное, у него уже года три болтался в записной книжке среди прочих сюжетов один, с которым он не знал, что делать. Как-то этот сюжет не укладывался в собственные представления автора о себе. Автор не знал, с какого боку его ухватить. Какую форму ему придать. Предложение написать сценарий тотчас придало этому сюжету форму. Автор взял его за бока, и они к обоюдному удовольствию завальсировали с сюжетом от эпизода к эпизоду, от сцены к сцене – и так до самого финала. К установленному студией сроку сценарий под названием «Курочка ряба» был готов и с количестве четырех экземпляров сдан куда следовало.

Все это, в известной мере, предисловие к истории, что приключилась с «историей, действительно имевшей место». Собственно история «истории» начинается с этого места.

Не знаю, что тому было причиной, скорее всего, время, что меняло ландшафт жизни буквально на глазах, но конкурс был странный. Мало того, что кроме членов жюри, сценарии читали еще некие «эксперты», но и вообще круг лиц, которые имели к сценариям доступ, оказался необычайно широк. Помню, конкурс еще шел, а мне уже звонили из Минска, с «Беларусьфильма», спрашивали, не отдам ли я сценарий им. Отдать я не мог, я не был хозяином сценария, я был лишь автором, а хозяином – «Мосфильм» в лице даниелиевского объединения.

Однако же, судя по всему, объединение все больше и больше теряло всякий интерес к конкурсу. Меняющийся ландшафт жизни заставил и объединение изменить свои планы. Итоги конкурса, сроки которого сначала все продлевались и продлевались, так никогда и не были подведены; а с концом Советского Союза стало окончательно ясно: новая жизнь – новые песни.

Но мне, как и в случае с «Бабым домом», отнюдь не хотелось расставаться с моей «Курочкой». Собственно, раз новые песни – так новые, я бы и расстался, но я с потрясением увидел, что мое аллегорическое предсказание, сделанное в сценарии, сбывается в жизни. И я вновь оказался со своим драматургическим сюжетом за столом.

Через некоторое время прозаический текст «Курочка ряба, или Золотое знамение» существовал уже в машинописном виде, и я отнес его в журнал, где обычно печатался в те годы и который даже заранее проанонсировал публикацию.

Проанонсировать-то ее он проанонсировал, но когда в редакции прочли «Курочку», то в публикации мне было отказано. «Знамение» оказалось несозвучным времени. Нет, цензура уже была отменена, цензура тут была ни при чем. По российской земле семимильными шагами шествовала новая жизнь, прекрасное, светлое будущее расстилалось впереди, обещающая райские кущи, а «знамение», мягко говоря, этому мнению не соответствовало. И в другом «демократическом» журнале отказались его печатать, и в третьем. Я начал искать возможность передать рукопись легендарному Володе Максиму, для его «Континента», однако во время этих «исканий» выяснилось, что он приостанавливает издание журнала и дальнейшая судьба «Континента» пока неизвестна. Я уже стал думать, что моей «Курочке» так и предстоит обрести покой у меня в архиве среди рукописей.

И в это время в Москве появилась Екатерина Самсонова-Брейтбарт, сестра Максимова. Но не как сестра, а как главный редактор «Граней», издававшихся во Франкфурте-на-Майне небезызвестным Народно-трудовым союзом. Сегодня я ей дал машинопись, через день мы уже разговаривали о практической стороне дела. Вопрос о публикации упирался лишь в размеры. «Грани» могли позволить себе напечатать всего пять авторских листов, а в «Курочке» было около десяти.

Тем не менее я принял это условие. Резать – не писать, а самое главное – в новой России мне негде было ее напечатать! В № 170 «Граней» за 1993 год, урезанная едва не до размеров сценария, «Курочка» явила себя миру.

Она явила себя миру, и я, как это уже было в свою пору с «Бабым домом», счел историю «Курочки» исчерпанной. Издать ее книгой нечего было и мечтать: издательская индустрия лежала в руинах, отечественных книг почти не выходило.

А в 1994 году на российские экраны вышел фильм с тем же названием, что было в свою пору у моего сценария, – «Курочка ряба». Но я не имел к фильму никакого отношения. Сценарий снятого фильма написал совсем другой человек, автор довольно многих сценариев к комедийным фильмам, общего между нами было лишь то, что и я, и он носили бороду, а кроме того, и у меня, и у него к тому времени бороды уже порядком поседели. Высказывать какие-либо обвинительные предположения я не чувствую для себя возможным. Мало ли что

какие-то сюжетные ходы совпадают. А уж о названии и говорить нечего: и у моей книги, и у того фильма название далеко не оригинальное. Правда, в этом и смысл...

Ну а потом так получилось, что я забыл об этом своем тексте. Не знаю, как другие писатели, а я в те годы был со своим народом: ложась спать, не знал, что буду есть завтра. (Тогда-то я и понял этимологию слова «завтрак»: «Будет ли у нас завтра стол?» – ломал себе голову, укладываясь спать, в голодные годы глава семьи). Нужно было выживать – и я выживал. Потом настало время большого романа, в котором я утонул на несколько лет, вынырнул – и нырнул в новый. Нет, раз-другой в год я, конечно, вспоминал о «Курочке», думал, надо бы перечитать, может быть, что-то освежить, но когда с руками-ногами сидишь в большой работе, то ни на что прочее уже недостатка сил.

Так и лежала моя «Курочка» у меня в архиве: заявка на сценарий, сам сценарий, прозаический текст, сокращенный вариант – целая гора папок. Но забыл ты – помнят другие. «А вот была у вас такая вещь в „Гранях“... – напомнил мне издатель, а тут как раз окно в работе, и я полез разыскивать папки с этой вещью, и нашел, и перечитал.

Перечитал – и поразился. Я-то думал, надо бы что-то переделать, освежить, подправить, но, оказывается, нет! Ни слова, ни полслова – ничего! Все, что было написано тогда, – все это словно о нынешнем дне. Без всяких изменений. Один к одному. Или я в самом деле оказался провидцем?

Конечно же, печально, если так. На самом деле я бы предпочел ошибиться.

Но как бы то ни было, вот она, эта «Курочка ряба», в своем истинном, исконном виде. Какой была задумана назад двадцать лет, какой пятнадцать лет назад написалась. Мой издатель, прочитав ту старую правленную машинопись, извлеченную из архива, и отправляя ее на сканирование для подготовки в набор, подтвердил: будто написана только что, все один к одному.

Думаю, издатель тоже предпочел бы ошибиться. Жаль, что нет. Но автор как сочинитель не может вместе с тем скрыть своей авторской гордости.

Анатолий Курчаткин

Глава первая

1

История эта произошла вот уже несколько лет назад, а о ней ни в одном средстве массовой информации не было сказано ни слова. Что в наше время реформ и свободной печати весьма даже странно.

И ведь если бы случилось все в какой-нибудь занюханной, затырканной Богом в не приведи Господь какой дальний угол деревушке на полтора двора – тогда бы еще понятно, тогда бы можно было найти объяснение. Но ведь в большом областном городе все это случилось, в крупном, как говорится, индустриальном и культурном центре. Где и обком партии, и обком комсомола были, обл. и горисполкомы, а также областной комитет КГБ, драматический театр, библиотека, свой пединститут и другие очаги культуры!..

Тайна эта мучает вашего покорного слугу и не дает ему покоя. Долг! Долг свидетеля и очевидца! Не могу молчать! Каждый должен исполнить свой гражданский долг. Вот и я – решился и исполняю.

На всякий случай я только не назову имени нашего города. Вы меня понимаете. Да город наш, если вы в нем бывали или будете, легко отличить от других. Такой среднерусский город с центральной улицей Ленина и памятником Ленину на одной из площадей. Раньше эта улица называлась Дворянской, и так того облика и осталась: двух– да трехэтажные особнячки, где с колоннами, где без, но все с высокими окнами, кое-где и венецианскими, и чисто все – удивительно. Хотя и не очень. На улице этой, как на центральной, располагались и обкомы, и исполкомы, и комитет КГБ, и прочие комитеты, и улицу до сих пор каждое утро чистят три поливальные машины, скребут ее щетками и обдают водой, а следом за ними появляются дворники с метлами и подчищают то, что оставили, не смогли подобрать машины, а еще следом – всякие садовники-озеленители: рыхлят клумбы с цветами, поливают их из шлангов и вырывают сорняки, которые увозят потом неизвестно куда на тележках.

На эту улицу, прострочив ее собою насквозь, выбегают всякие другие улицы: купеческие лабазные дома теснятся на них, уйдя от времени первым этажом до середины окна в землю, мещанские степенные шкатулки красного кирпича, поставленные на стыке веков, глядят на вас из-под зеленого марева склоняющихся над ними ясеней, лип и кленов, а то и стиль ампира шибанет вам в глаза, а то и стиль модерн с остатками сине-зеленой майолики, изображающей что-то растительное. И широко, мощно отворотив от старого мира свое социалистическое лицо, вытекает из бывшей Дворянской проспект Красной армии, с раздольными тротуарами и такими же раздольными, похожими на заливной луг зелеными газонами, с крепостного вида пяти– и шестиэтажными домами, сплошь в башенках и лепных фризах, а ведет его просторная река не куда-нибудь, а к вокзалу, и всякий приезжий, сойдя с поезда, тотчас попадает на проспект, и вид проспекта остается в его памяти на всю жизнь, лепя образ города.

А между тем другого такого проспекта в городе нет, и нет другой улицы, подобной Дворянской, ныне улице Ленина. А купеческие лабазы с мещанскими краснокирпичными шкатулками, редкими ампирами и модернами сменяются подслеповатыми панельными сарайчиками в четыре и пять этажей да дощато-засыпными, поехавшими набок двухэтажными строениями о два подъезда, к которым, если прихватит на улице нужда, и рекомендую вам

свернуть: «удобства» здесь расположены прямо во дворе, и, не знаю, как для жителей, а для прохожих ужасно удобно.

И еще одна, совершенно особая примета: если, сойдя с поезда и выйдя на привокзальную площадь, сразу же свернуть за вокзал, под мост, по которому вас только что привез скорый пассажирский, фирменный, с занавесками на окнах, и, миновав этот мост, выйти на дорогу, диво дивное предстанет вашему глазу: с холма на холм, с холма на холм переливаются, убегают волнами к горизонту рубленые одноэтажные дома под шиферными и железными крышами с торчащими над ними пеньками труб, тянутся от дома к дому заборы, стоят около завалинок лавочки, зеленеют грядки, чернеют преющим деревом всякие внутривозовые немудрящие строения... Грешен, признаюсь: люблю я стоять здесь, смотреть на расплескавшееся бревенчатое море – вот, думаю, так выглядел город и сто лет назад, и двести, и все семьсот-восемьсот, разве только крыши были тесовыми да не тянулись вдоль улиц столбы электролиний... Ах, думаю, земля ты моя родная, страна ты моя любимая!..

В общем, нет другого такого города на всей Среднерусской возвышенности, так что, попав в него, не ошибетесь: о нем речь.

2

На трясущихся, подгибающихся ногах ходил Игнат Трофимыч теперь по утрам в курятник. А старуха его вообще отказалась заглядывать туда. Такое чувство было у Игната Трофимыча, когда, еще в нательной ночной рубаше и обычных своих дворовых штанах от полохатой пижамы, он шел в курятник и отворял его дверь, что выскочит оттуда ему навстречу сам рогатый черт или еще неизвестно кто страховидного облика, и сердце его замирало, а ноги подкашивались. И потому вдобавок к ситу брал он теперь с собой большой чугунный пест от ступки. Хотя что там пест от нечистой силы, разве оборонишься от нее пестом? Но с пестом все же было как-то лучше, спокойнее.

Куры, когда Игнат Трофимыч вошел в курятник, всполошились, одна слетела с насеста вниз, на землю, а две взметнулись вверх, на насест, струнка солнечного света падала в щель между досками курятника – все было как всегда, никакой нечистой силы, все обычно, и от сердца у Игната Трофимыча отлегло. Он поставил сито на землю, переложил пест в левую руку и стал выискивать в сене снесенные яйца. Нашупав яйцо и вытащив его из спутанных сенных прядей, он подносил каждое к струнке солнечного света и внимательно осматривал его. Уже несколько чудных, белейших, чуть тронутых засохшими мазками помета яиц лежало в сите, когда невзрачная пегая курочка в углу заклохоталась-заклохоталась, захлопала крыльями, снося яйцо, и Игнат Трофимыч, как был в согбенном состоянии, так и замер. Взгляд его притянуло к Рябой как магнитом. И не хотел он смотреть туда, боялся смотреть, аки в пасть зверю кровожадному заглядывал, а не смотреть не мог!

Курочка сделала шаг вперед, встряхнулась и, снова хлопав крыльями, взлетела на насест. А Игнат Трофимыч, проводив ее взглядом, потянулся рукой в угол, где она снеслась, и ходила у Игната Трофимыча рука ходуном, а когда пальцы ощутили яйцо, почувствовал, что весь, с ног до головы, – мокрый, будто стоял под дождем.

– Ох ты! – выдохнул Игнат Трофимыч, зажимая яйцо в руке, понес его к струнке света, глянул – и рука у него дернулась так, что яйцо едва удержалось в ней, а из левой руки пест-таки выскочил и больно ударил Игната Трофимыча через обутую на босу ногу калошу по взъему. – А-а-а!... – завопил Игнат Трофимыч давно немолодым уже, надтреснутым голосом и, едва не высадив головой низкую дверную притолоку, вывалился из курятника на улицу.

Того, что это его собственный пест ударил его, он не понял, он и забыл про пест, будто того и не было у него в руках, ему показалось – кто-то бросился на него сбоку и пнул по ноге изо всей силы.

Но на улице было светло, солнечно – чудесно ясно, утренняя росистая свежесть еще держалась в воздухе, еще наносило с грядок запахами посаженных там укропов с петрушками, птицы пели вокруг, и Игнат Трофимыч осознал с облегчением, что никто за ним не гонится, а еще немного погодя, заметив отсутствие песта в руке, понял и чем его «пнули».

– Фу ты, ну ты, Господи, воля твоя! – с облегчением сказал он вслух, однако же возвращаться в курятник за ситом с пестом, продолжать собирать яйца – не было у него сейчас на то духу, и, прихрамывая от боли во вземе, он побежал вдоль огородного плетня трусцой в дом.

В два маха взлетел Игнат Трофимыч, несмотря на зашибленную ногу, по крыльцу в сенцы, в два прыжка одолел расстояние до двери в дом и, распахнув ее, крикнул своей старой, не видя ее, но зная, что где-то здесь, в доме:

– Что ты будешь делать с проклятой птицей, прости Господи! Опять золотое!..

Молчание было ему ответом.

Игнат Трофимыч ступил скоро несколько шагов вдоль печи – и увидел свою Марью Трофимовну. Пока он ходил в курятник, она вздула в печи огонь, собираясь готовить завтрак, крик его застал ее снимающей рогаткой конфорочные круги с плиты, и как он ее застал, так она и застыла с воздетым вверх дырявым чугунным блином, и в глазах ее стоял мистический ужас. А увидев вышагнувшего к ней из-за печи Игната Трофимыча с зажатым в руке яйцом, она попятилась-попятилась от него, наткнулась на лавку, ноги у нее подкосились, и она с размаху шлепнулась на спасительное сидение, тяжело хлопнув о него обширными окороками.

– Да ну? – только тут, почувствовав под собой надежную крепость лавки, смогла выговорить она.

– Не «ну», а по лбу гну! – запаленно ответствовал ей Игнат Трофимыч, раздражаясь. Ужас в глазах старой показал ему его самого в курятнике, и портретом этим Игнат Трофимыч не восхитился.

– Да че же это такое, – обиженно, плаксиво, в самом деле, едва не готовая пустить слезу, сказала Марья Трофимовна. – Посадят ведь нас!

– Тьфу, дура! – вконец рассердясь на нее, плюнул Игнат Трофимыч. Она уж не впервой говорила это – и довела его. – Типун тебе на язык! Кто знает-то? Не от тебя да не от меня – так кто разведает-то?

Ужас в глазах Марьи Трофимовны сменился мыслью.

– На суп ее надо прирезать, – сказала она.

– А может, изжарить? – саркастически спросил Игнат Трофимыч.

– Дак ведь жалко прирезать, – не обратив на его слова внимания, продолжила свою мысль Марья Трофимовна.

– «Дак», «дак», – передразнил ее Игнат Трофимыч. Умна у него была старуха, ничего не скажешь. – То «посадят», то «жалко».

– Дак, может, еще и не посадят, – сказала Марья Трофимовна, вроде как еще продолжая размышлять, но уже и отвечая ему. – Сейчас вроде послабление в жизни выходит. Како-то вон правовое государство строить наладились.

Старый их, тридцатилетнего возраста телевизор «Луч» с утопленным внутри маленьким экраном как раз об этом и вещал из комнаты в растворенную дверь: сидел там за столом в голубом мерцании некто в галстук, глядел прямо в глаза и долдонил: правовое, правового, правовому...

У Игната Трофимыча все прямо взвилось внутри. Наслушалась, кадка осиновая, мало ей рая обещали, опять захотелось!

– Пока они наладятся, с тебя семь шкур спустят! – бросился он в комнату, крутанул ручку и убрал с экрана вместе со светом этого в галстук. – Верь им больше, этим говорилкам-то!..

Игнат Трофимыч заткнул рот телевизору – и обнаружил, что от этого его решительного действия ничего не изменилось, все остается, как было: вот он, заскочивший в дом, не сняв галош, вот его рука, посеченная от прожитых на свете годов дряблыми морщинами, а в ней, в руке, – яйцо, и страшно оборотить руку к себе ладонью, страшно так, что и нет сил оборотить, потому что яйцо... потому что...

Игнат Трофимыч шагнул к невысокому, травленому морилкой, собственным терпением и умением сработанному когда-то поставцу, распахнул его и, не выпуская дверцы из рук, зажмурился.

– Господи, воля твоя, – сказал он и открыл глаза.

Солнце из окна за спиной пробивало утренним низким лучом поставец насквозь, до самой задней стенки, и лежащие на верхней полке, на белой фланелевой мягкой тряпице полтора десятка золотых яиц горели глубокой яркой желтизной. А в руке у него было такое же свеженькое.

– Дак, а может, они и не золотые вовсе? – спросил его голос Марьи Трофимовны рядом.

Оказывается, она встала с лавки и проследовала в комнату за ним.

– «Дак», «дак»! – снова не сдержался, передразнил Игнат Трофимыч. – Разуи глаза хорошенько – не золотые! Какие ж еще, оловянные, что ли? Вон они, – качнул он рукой с яйцом, – ровно камень. Прямо как булыжник какой.

– Ой, дак че ж делать-то? – плаксиво воскликнула Марья Трофимовна и тронула даже концом платка, которым всегда подвязывалась, чтоб волосы не мешали хозяйствовать, углы глаз. И тут же слюбопытничала, и не в первый уже раз, уже подбивала она Игната Трофимыча на это: – Они там внутри-то какие? Просто белок с желтком или еще че?

Третью неделю неслась Рябая вместо обычных яиц золотыми, третью неделю жили все равно как на вулкане, жили – и не жили, немоготу уже становилось, чур, чур меня – и хоть в пропасть головой, так уже немоготу было, просилось сделать что-то, хоть что – но сделать, решиться, и мнилось: сделаешь – станет легче.

– А ставь-ка, старая, – медленно, будто угрожая кому-то, вымолвил Игнат Трофимыч, – сковороду на огонь. Глянем сейчас, чего там у них, сварганим яишечку!

3

Славное дело, чудесное дело – яичница! Ах, как весело шкворчит сало на раскаленном голом пузе сковороды, пузырясь и стреляя коричневой подгорелой пленкой. Ах, как славно всадить с размаху тяжелый нож в хрупающую под его беспощадным острым лезвием скорлупу и, разломивши ее на половины, выпустить тягучее солнечно-облачное содержимое на kloкочущее жаром обнаженное чугунное пузо. Ах, как чудесно, ах, что за упоение, вооружившись вилкой и ломтем белого хлеба, есть потом с этого горячего пуза кусочки испекшегося во мгновение ока толстого пористого блина, высушивая кусочками хлеба оставшуюся в середине первозданно текучей желтую плоть!..

Игнат Трофимыч, впрочем, готовясь бить яйца Рябой, никаких подобных чувств не испытывал. Страх он испытывал – и ничего другого. Однако же он решился, а решившись, имел привычку Игнат Трофимыч принятому решению не изменять. И оттого, как ни прыгали у него руки, а, собрав все яйца из поставца в миску, вооружился ножом и, взяв из миски одно яйцо, примерился к нему.

– Ой, а может, ну его, не надо! – прижимая руки к груди, простонала Марья Трофимовна.

Игнат Трофимыч не ответил ей. Не до ответов ему было. А ну как расколю, а оттуда какой-нибудь с хвостом и рогами, думалось ему.

И под эту мысль – «а ну как оттуда...» – хватил он ножом по яйцу что было мочи.

Но, видимо, мочи у него было немного, потому что яйцо не расколосось, не хрупнуло даже, а только осталась на нем небольшая узкая вмятина.

– Ой, дак золотые-то разве эдак бьют? – вскинулась Марья Трофимовна. – Пошибче надо. С оттягом.

– Откуда тебе знать, как золотые бить? – огрызнулся Игнат Трофимыч. – Много их набила за жизнь?

– Дак яснее ясного. Золото – это известка тебе? Это металл, чай.

– А-ах! – подобно штангисту, вырывающему над собой на вытянутых руках штангу, хрипло выдохнул Игнат Трофимыч, бросая нож на зажатое в левой руке яйцо с гильотинной неотвратимостью.

Скорлупа проломила с каким-то скрипучим хрустом, и на пальцы ему выхлестнуло жидкое и зеленое, тотчас ударившее в нос зловонием.

– Ой, батюшки! – подвизгнув, вскрикнула Марья Трофимовна.

– Ух ты! – облегченно вздыхая, сказал Игнат Трофимыч. Зловоние, исходившее от яйца, обрадовало его. Обычное оказалось яйцо, никаких рогов с хвостами, и даже протухло, как любое другое, – тепло, видно, было в поставце-то!

Воротя нос в сторону, он стряс содержимое яйца с пальцев в помойное ведро, обмыл наскоро скорлупу под рукомойником и, стряхнув с нее воду, взвесил на руке.

– А ведь граммов семьдесят верных.

И лицо у него в этот миг – о чем он сам и ведать не ведал – приобрело плотоядное, хищное выражение.

У Марьи Трофимовны широкое ее круглое лицо в мешочках одрябшей кожи было исполнено почтительного и как бы завистливого благоговения.

– Како семьдесят, – сказала она, взяв у него скорлупу и взвесив на своей ладони. – Все сто будет.

– Ну-ка, – отобрал у нее скорлупу обратно Игнат Трофимыч. Покачал в воздухе рукой и согласился: – А пожалуй. Все сто, очень похоже.

Благоговение на лице Марьи Трофимовны вдруг, в одно мгновение, будто невидимая рука, коснувшись его легким движением, смела случайно приставшую тонкую паутинку, снова сменилось ужасом.

– Ой, дак че ж это? – плачуще простонала она. – Ой, дак это ж сколько у нас добра-то этого? Ой, дак это если обнаружат... че ж это с нами будет?

Есть ли что на свете для мужика крепче бабьего слова? Вожди ли приказывают народам, гении ли повелевают умами?

Баба владеет миром, бабий подол сильнее любого штыка и тяжелее пули. Слаб мужик против бабы, что стрела перед тетивой – как натянет, так и полетит. Еще, бывает, баба и слова не скажет, только бровью шевельнет, а мужик уж пойдет кружиться волчком, со всем рвением да усердием – то ли чтоб от греха подальше, то ли уж потому, что и в самом деле дана над ним такая власть бабе...

Игнат Трофимыч, только что с такой отвагой взявшийся раскокать Рябухины яйца, слушая свою старую, весь словно перекрутился внутри, и глаза его темно налились отвагой совсем уже другого рода. Совсем иная решительность загорелась в них, и, ничего не ответив Марье Трофимовне, бросив яичную скорлупу на стол, он подхватился и споро бросился в

сени. А там, увидела Марья Трофимовна в дверь, сцапал он в сенной полутьме стоявший, как всегда, в уголке, на положенном ему месте топор.

– Ты че это надумал? – всполошенно крикнула она ему вослед. Но Игнат Трофимыч теперь уже не слышал ее. Шибанув уличную дверь, вывалился он на крыльцо и, горя глазами, заперевбирал ногами по нему вниз.

Только тут и дошло до Марьи Трофимовны, на что, не сознавая того, подвигла она своего старого. – Стой! Стой! – бросилась она за ним. – Стой, кому говорю!

Но не слышал ее Игнат Трофимыч. Рябая была его целью, и, кроме Рябой, не осталось существовать для него на всем белом свете больше ничего.

Фф-р-рр! – захлопав крыльями, разметалась из-под его ног стайка кур на дорожке. Дверь курятника, выбежав из него, Игнат Трофимыч оставил открытой, и куры, разумеется, предпочли заточению уличную волю. Рябой, однако, среди них не было.

Не оказалось ее и в курятнике. Игнат Трофимыч обшарил взглядом все углы, даже рукой пошебуршал в сене – остались в курятнике две курицы, жались от него к стенке, квохтали, но рябой не было, нет!

Марья Трофимовна дотряслась до курятника как раз когда Игнат Трофимыч, с топором перед грудью, выметнулся из него наружу.

– Ты че эт надумал?! – попыталась поймать его за рукав Марья Трофимовна.

Но Игнат Трофимыч увидел Рябуху. В компании еще нескольких кур та разгуливала в огороде, тюкалась в землю клювом, выискивая себе корм. «Ах ты, проклятая», – просипел Игнат Трофимыч – разумея под этим словом в данный момент вовсе не Марью Трофимовну – и, подскочив к огородному пряслу, с несвойственной ему обычно бойкостью перемахнул через слегу.

– Цып-цып-цып-цып, – зачем-то пригибаясь и подгибая ноги, будто прячась, пошел он к пасшейся в огороде компании кур. – Цып-цып-цып-цып!..

Куры, слышав призывный хозяйский голос, одна за другой, вперевалку, не спеша, потянулись по грядкам к Игнату Трофимычу, и Рябуха тоже подалась к нему.

Марья же Трофимовна, бросившись за своим старым, с налету взлезла было на прясло одной ногой, а перебраться через него, перебросить вторую ногу – это у нее никак не получилось.

– Погоди, эй, погоди, – торопливо заприговаривала она с прясла, убеждаясь, что, пока слезет, старый ее, глядишь, сотворит, что задумал. – Погоди, ты че, не спеши! Успеем в суп-то, ты че! Все равно уж вон сколько нанесла, куда денем?

– В нужник! – коротко, прервавшись подманивать кур, соизволил, наконец, ответить ей Игнат Трофимыч.

– В нужник, ага! – задергалась, забила на прясле Марья Трофимовна. – Какой поспешливый!

Тут ее осенило лечь на слегу грудью, и, обнявши теплое дерево, Марья Трофимовна перетащила вторую ногу к первой. Но, как перетащила, ее тотчас потянуло вниз, к земле, и, не удержав себя, Марья Трофимовна с тяжелым хряском рухнула прямо на заросли молодого изумрудного укропчика.

– Ай, лешай! – выругалась, понятное дело, в сердцах Марья Трофимовна, вмиг окручинясь из-за погибшего укропа, но лежать и кручиниться не было у нее времени, и, охнув раз да другой, она подхватила с земли и побежала к Игнату Трофимычу, вопя на ходу, и, надо признаться, довольно истошным голосом: – Стой, говорю! Стой, лешай ты!

Рябая, которую Игнат Трофимыч уже едва не держал в руках, от звука этого истошного голоса Марьи Трофимовны шарахнулась в сторону, Игнат Трофимыч, повинувшись охотничьему инстинкту, метнулся за ней, и Рябая, вконец перепугавшись, припустила со всех

своих куриных ног к соседской изгороди. Взмахнула, шумно встрепетав крыльями, в воздух и приземлилась уже там, на другой стороне.

– Что ты тут мне под руку тоже!.. – Игнат Трофимыч, осерчав, замахнулся на свою старую, забыв, что в руке у него топор, и вышло, что замахнулся он топором.

Марья Трофимовна струхнула. Хотя и был ее старый вовсе не дикого нрава, а скорее наоборот – можно из него было и веревки вить, знай только, с какой стороны завивать, но все же, учитывая нынешние обстоятельства... чем черт не шутит, а вдруг он не в себе?

– Ты че! Ты че! – пошла она от него назад пятки и, отпятась на расстояние, показавшееся ей уже безопасным, повернулась и бочком, оглядываясь на Игната Трофимыча, отбежала трусцой еще на несколько шагов. – Одурел, че ли?! – возвысив голос, закричала она на него с привзвизгиванием. – Совсем не соображаешь ниче?!

– Трофимовна! Свидетелем буду! – было ей ответом – чужим голосом, со стороны, и не мужской голос был вовсе, а женский, но зычный, крутой, твердый, как березовое полено, так, поленом, он и влупил Марье Трофимовне по барабанным ее перепонкам, она на какое-то мгновение аж оглохла. – Бери свидетелем – все видела! Годок припаяют – отдохнешь без хрыча старого, еще с молоденьким познакомлю!

4

Тут, в этом месте я вынужден прерваться. Дабы сказать несколько слов об обладательнице голоса, так неожиданно и бесцеремонно ворвавшейся в интимную, можно сказать, семейную сцену. Она б и не заслуживала такого внимания, эта обладательница, если бы не особая роль, которую ей уготовано было сыграть во всей приключившейся истории. Собственно, может быть, и никакой бы истории не приключилось, если б не она. Толкуй после этого о роли личности в истории. Вот не она бы – и ничего б не приключилось. Но она, не кто другая была соседкой стариков, и история была обречена.

Имя ее было простое русское имя, как и у Трофимычей, – Евдокия Порфирьевна, и фамилию она тоже имела простую и русскую: Ковригина. Вот только уличная кличка у нее подкачала – почему-то соседка была прозвана по-французски: Марсельеза. Впрочем, русский человек очень даже не против поживиться чем-нибудь иностранным, и если ничем больше нельзя, то почему бы, спрашивается, не прозвищем?

Возрасту Евдокии Порфирьевне Ковригиной-Марсельезе было на означенный период времени сорок три года, и второй уже год она снова жила одна, спровадив третьего мужа Васю Кабана (вот нормальное прозвище, все без объяснений понятно), как и двух предшествующих ему, на некоторый срок в места государственного вразумления, потому что была женщина властная и поперек себя не терпела никаких слов, а как женщина крупная не терпела никакого применения рук к своему телу, и оттого всякое ее замужество заканчивалось крупной дракой, из которой она при помощи государства неизменно выходила победительницей. Когда-то в молодости Евдокия Порфирьевна, а попросту еще Дуся, работала на ткацком производстве города, работала разметчицей в машиностроительном производстве, потом диспетчером в таксопарке, диспетчером в парке автобусном, но уже многие годы как нашла она свое призвание и тянула лямку, в которую другого нельзя было впрячь под пистолетным дулом, а именно: лямку автобусного контролера, справляя свои обязанности сурово и истово. Детей она вследствие неукротимого своего характера как-то не удосужилась завести, потому что заводить их нужно было от мужиков, а все, что от мужиков, кроме удовольствия в постели, казалось ей недостойным ее сил и внимания. Одинокая жизнь, хочешь не хочешь, сказывалась, скучно ей было, томилась она, все хотелось занять себя чем-то, возвести, приперчить жизнь какою-нибудь лихой забавой – и вот, выйдя поутру на крыльцо

добежать до нужника, не успев еще и сойти на ступени, увидела своих стариков-соседей в таких занимательных обстоятельствах, что никак не могла не понаблюдать. А потом уж, когда Трофимовна, трясясь и колыхаясь, побежала от своего благоверного, тут уж выдержать, не вставитья со своим словом совсем было невозможно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.